

личения, и бухгалтеров таких не осталось, все они теперь зашнурованы от пят до шеи коммерческими тайнами.

Отсидев два дня над колхозными отчётами, я стал задумываться об отъезде домой. Непогода не прекращалась, подходящих колёс на случай бездорожья у колхоза не было. Деревня Шуево стоит в пяти или шести верстах от трассы Омск-Тара, но вряд ли и там можно было рассчитывать на попутку. Однако сидеть мне не хотелось. И выход опять же нашел пожилой бухгалтер.

— У нас для подобных случаев есть Машка, — с хитрой улыбкой произнес он.

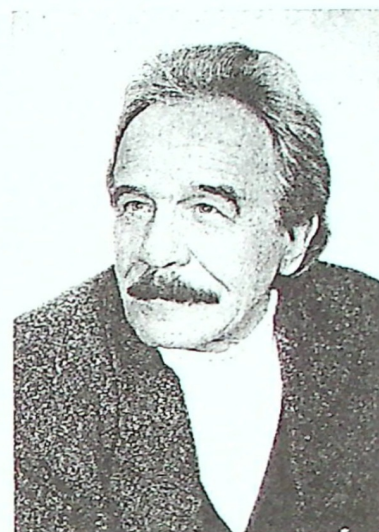
Выглянув в окно, я увидел привязанную к пряслу палисадника брюхатую гнедую лошадь. Оказывается, на Машке можно было верхом доехать куда угодно, а потом требовалось только закинуть «руль управления», то есть повод, на шею, и Машка возвращалась к себе на конюшню. Я был не первым и, надеюсь, не последним, кто пользовался таким «внедорожником» в доиндустриальный период нашего журналистского существования.

Машку я, разумеется, отпустил с большака. С попуткой повезло. Добравшись до редакции, я тут же почтовым переводом отправил деньги в колхоз, а плащ и сапоги мне хорошо служили ещё много лет.

ЧАШЕЧНИКОВ

Я уже сказал, что наиболее близким мне человеком и другом был Леонид Чашечников. Жил Леонид тогда в Екатерининке с мамой, родной тетушкой и сестрой. Даже не помню, где он квартировал в Таре, но в летние месяцы мы частенько обретались у меня, на улице Первая Северная. Спали на сарае под холщёвым пологом. А на выходной день уезжали в Екатериновку. Возвращались к началу работы в понедельник. Нередко и по отдельности. Лёша любил по утрам поспать. Я же с молодости и по сей день «болен» пунктуальностью. Эту мою черту Чашечников, кажется, презирал, она была как пункт нашей принципиальной несовместимости. Чашечников навсегда останется для меня своеобразным поведенческим алгоритмом, по которому я оцениваю людей, подверженных распространенной «слабости», за которую и мой друг, в конце концов, расплатился тремя инфарктами, третий на 66-м году жизни оказался смертельным. Болезнью эта «слабость» становится только за определённой чертой, но до неё человек добирается через потворство самому себе, своим прихотям, подспудно и безотчётно разрушая в себе строгую систему молекул и атомов.

Хуже того, встречаются люди, которые любят себя своим скольжением по наклонной, видя и в этом свою исключительность. Лёша, будучи ещё неиспорченным, таким, как все, уже пустил впереди себя молву о своей обречённости. В компаниях на бис шёл его «Разговор со стаканом», в том стихотворении были такие строки: «Пьяный, как свинья, смеюсь до коликов, а над кем смеюсь, спросить бы вас. Над собой смеюсь...». До такого состояния ему тогда было ещё далеко, а он уже им, как бы, любовался. Об этом скажут стихи, которые приведу по другому поводу, а именно — по поводу, свидетельствующему о моем вхождении в профессию литератора и журналиста.



Признаюсь, у меня дома мой выбор профессии журналиста воспринимали неоднозначно. Мама тревожилась из-за постоянных разъездов по району, отец откровенно ёрничал, называя моё занятие собиранием сплетен, старшие братья, как мне кажется, полагались на то, что от журналистики меня спасёт будущая профессия инженера, которую я получу в институте (здесь надо сказать, что я в то время уже числился студентом землеустроительного факультета сельхозинститута, но находился в академическом отпуске). Но это было делом будущего, а тогда мне, естественно, хотелось немедленно примирить моих родных с делом, которым я с упоением занимался. И этого удалось достичь. Но каким образом? Я влюбил свою семью в моих редакционных коллег, воспользовавшись собственным двадцатилетием со дня рождения.

С согласия родителей в наш дом на улице Первая Северная был приглашён весь мужской состав редакции. Столы поставили прямо во дворе. Компания понравилась не только моим родным, но и соседям. Пели фронтовые песни. Анекдоты, которые «травил» при своём гремющем голосе Беляев, наверное, слушала вся наша тихая улица. Кое-что коллеги сказали и обо мне, с точки зрения отца — обнадеживающее. Чашечников разразился стихами с такой припиской в конце: «Прими вместо подарка это дружеское посвящение».

Не могу я тебе ничего подарить,
Кроме тоста за дружеской чаркой.
Пусть родня твоя будет потом говорить:
Вот, мол, скуп, не принёс и подарка.
Ты поэт, как и я, ты, я знаю, поймёшь,
Я дарить тебе вещи не стану,
Потому что за всем этим кроется ложь –
Наша дружба чиста от обмана.
Я тебе подарю сотню пламенных слов,
Пожелаю всю жизнь быть поэтом,
Быть здоровым, как тысяча добрых волов,
Быть любимым, влюблённым при этом.
Я тебе пожелаю с наукой дружить,
В институте держать нашу марку,
По-студенчески жить, никогда не тужить,
Жизнью жить поэтически-яркой.
И скажу, наконец, никогда не криви
Даже в трудное время душой.
Ради правды твори, ради жизни живи
И достигнешь вершины большой.
А меня не советую ставить в пример –
Ты же знаешь, что песенка спета.
Я не ждал от судьбы ни чинов, ни карьер,
А родился и сдохну поэтом.
Пусть умру одинок, пусть умру нищ и гол,
Но поэзии милой не брошу.
Пусть пурга заметёт мой неубранный холм,
Жалкий крест запорошит пороша.
Но зато ты и мертвого вспомнишь подчас
И, прочтя «Разговор со стаканом»,
Ты друзьям за столом, вот таким, как сейчас,
Расскажи обо мне, часто пьяном.
Как сошлись невзначай, разойдутся пути,
Где б ты ни был, но каждой весною
Обо мне, Михаил, иногда погрусти,
Над мечтой, похороненной мною.

ПОЭТ РУССКОЙ ПЕЧАЛИ

Я выполнил и продолжаю выполнять этот наказ друга. В деревне Рогачёво в подмосковном Сергиево-Посадском районе на кладбище «холм» его могилы, может, и был бы неубранным, если бы не верность тому наказу.

В воскресенье 19 декабря 1999 года у меня дома в Москве раздался междугородний телефонный звонок. Незнакомый мне человек звонил из подмосковной деревни Семёново. Это место неподалеку от Сергиева Посада уже несколько лет в моём сознании жило слитно с Чашечниковым. Он дважды поселялся там: в первый раз после переезда из Астраханской области в Подмоскovie, во второй – после нескольких лет проживания в Балашихе.

Ровно неделей раньше Леонид сам звонил мне оттуда, сказал, что дней на десять ложится в больницу. Договорились, что я позволю ему после вторника. Но вот, вклинился этот воскресный звонок, известивший, что надо ехать на похороны. Леонид умер ночью на пятницу в участковой больнице. Сердце разорвалось во сне. Смерть оказалась легче жизни, в которой он маялся и слишком долго был одинок – под конец остался в своей однокомнатной квартирке вдвоём с котом Шуркой.

Я добрался до Семёнова лишь за полтора часа до похорон. Посреди села нелепо торчат несколько панельных пятиэтажек, в одной из которых на третьем этаже и находилась последняя пристань поэта. Преодолеваю четыре лестничных марша со стоптанными ступенями. Обитая морёной рейкой дверь легко подалась, и с порога я увидел незнакомых людей. Какие-то мужчина и женщина были на кухне, ещё несколько человек смотрели на меня из комнаты. Наверное, я их удивлял ищущим взглядом, остановившемся, наконец, на двух простеньких венках, прислонённых к книжному шкафу.

Женщина на кухне спросила:

– Вы кто?

Люди не могли меня знать, они были из этой, сегодняшней жизни моего старого друга, в которую я вторгся сравнительно редко, причём по телефону чаще, чем наездами. Они зовут его непривычно для моего уха – Леонидом Николаевичем. Это были Сергиево-Посадские литераторы, которых он успел объединить в какую-никакую организацию, некоторым дал рекомендации в Союз писателей России. Словом, знать меня в лицо они не могли. А вот кот Шурка по-родственному потерся о мою ногу...

Главный вопрос, который меня интересует, – приехал ли кто из родных? Общественность и литературоведы чаще плачут задним числом. Тут незаменим свой человек. Сестра Тамара живёт в Астраханской области. Дочь от первой жены – в Красноярске. В его заливчатой молодости была романтическая история, воспетая им во многих стихах. И уже в зените лет разыскал его сын, живущий на севере Омской области, в Васисе. Оказался славный парень, и ниче-

го другого не попросил, кроме права носить его фамилию. Тогда Лёша усыновил... взрослого сына – нелепо звучит, правда? Знаю, что общались они редко, но Лёша до конца дней гордился таким поворотом судьбы.

Похороны на чужбине – это в жутковатой яви как возмездие нам за то, что мы, гоняясь за журавлями в небе, покидаем свою родину.

Лёша в стихах воспел и эту печаль:

Да, я люблю, пронзительно люблю
Угрюмый лес и пасмурное поле,
Да, я скорблю – который год скорблю
О родине моей, о вольной воле.
Завидно мне, что деды и дядья –
И на погосте посреди знакомых.
От матери частенько слышал я:
«Здесь хорошо, а помирать бы дома...»

Я вздрогнул, услышав за спиной свое имя. Слава Богу, это была Тамара, Лёшина сестра, которую я не видел, наверное, лет сорок. Она приехала с мужем. Мы, обнявшись, поплакали. И почти сразу же кто-то из вошедших произнес роковое слово: «привезли». Мужчины стали хватать с вешалки одежду, выходить на площадку. Снизу через открытую дверь подъезда доносились голоса, и задувал холодный ветерок, приправленный запахом хвои. Кто-то меня обгонял с двумя табуретками навесу. Когда я спустился, красный гроб с нашитым по верху чёрным крестом уже стоял на этих табуретках у подъезда. Двое мужчин сняли крышку. Есть выражение: гробовая тишина – это как раз относилось к наступившим минутам.

Я приподнял с лица покойного белое кружевное покрывало. Лёша был таким, какого я видел менее чем два месяца назад. Только молочная белизна покрыла лоб и щеки. В черных усах виднелись проблиски седины, и, совсем не портя вида, под едва заметной улыбкой пенилась белая-пребелая, примерно недельной давности, борода.

Принесли крест, сработанный по всем церковным правилам и с распятием.

Привезли священника. Это был настоятель церкви из соседнего городка Пересвет. Весь такой классический, здоровенный, с окладистой бородой и красивым басовитым голосом. Две женщины, которых священник называл по имени, стали вместе с ним готовить обряд. Они укрыли тело специальным церковным покрывалом, на лоб положили венчик, и Лёша как-то сразу от всех отделился, стал потусторонним.

Закончив молитву, батюшка поучает, в каком порядке надо вершить траурное шествие. Кто-то подошёл с портретом покойного. Лёша был снят для очередной книжки, наверное, ему хотелось смотреть с обложки залихватски-весело, с дымящейся перед лицом сигаретой... Священник строгим движением руки отстранил портрет, что-то ещё сказал в назидание, и портрет унесли в кабину стоящей поодаль машины. Впереди процессии он поставил несущих крест, затем – людей с венками и крышкой гроба. Затем сам встал в колонну, за ним шестеро молодых подняли красный гроб.

Много раз видел, как хоронят литераторов. Больших и не очень. Во все времена кем-то устанавливался ранг похорон. В зависимости от ранга выделялись залы, кладбища. И даже гробы. До некоторых пор и в посмертных почестях замечалась определенная цензура. Сейчас всё смешалось, на процедуру похорон расплзлась аура не столь заметного ранее золотого тельца. Богатых и «крутых», словно откупаясь или на радостях, упаковывают в навощённые импортные ящики с открывающимися, как у самолета, «фонарями». Будто им там вылезать перед вратами рая или ада.

Скромный обряд для Чашечникова был куплен невесть на какие деньги. Три года назад он продал свою двухкомнатную квартиру в Балашихе, переселился в Семёново. Получая скудную пенсию, он, разумеется, транжирил разницу между стоимостью балашихинской квартирой и здешней однокомнатной клетухой на житьё. Знаю, стеснять себя он не любил, даже купил машину «волгу», хотя сам за рулём никогда не сидел, для разовых поездок нанимал шофёра, да по 100 рублей в месяц платил за стоянку.

Когда деньги кончились, пришлось машину продавать, выручка была в четыре раза меньше затрат на покупку. Из остатка оплатил первый завод книги «Русская голгофа» тиражом 500 экземпляров. Второй завод рассчитывал запустить на деньги, вырученные от продажи первого, а уж второй том – после распространения второго завода. Такой план он развел как раз до своего семидесятилетия, то есть до 2003 года. Пока мог выступать на поэтических вечерах, книга «Русская голгофа» расходилась по 30-40 рублей. Можно было обойтись и без магазинов – 500 экземпляров не тираж. Но тут настигла болезнь. Мне после доведётся увезти несколько десятков экземпляров книги в Омск и Тару – в библиотеки, друзьям.

«Русская голгофа» – это десятая по счету книга поэта. Самая солидная: двести пятьдесят стихотворений и две поэмы. У Союза писателей СССР в советские времена была правильная традиция – давали членам Союза возможность в честь пятидесяти – или шестидесятилетия как бы отчитаться перед читателями изданием юби-

лейной книги. Шестьдесят лет Чашечникову исполнялось в 93-м. Издательское дело к тому времени уже кануло в «Лету» вместе с некогда мощным Союзом писателей СССР и Литфондом.

Гроб на руках донесли до выезда из села, затем поставили на грузовик. Провожающие ехали в автобусе. На кладбище обряд был непродолжительным. После молитвы батюшка наставлял, как должна проходить процедура прощания:

– Подходите по правую руку, целуете икону, затем прикладываетесь к венчику на лбу. Можно попрощаться и просто поклоном.

На погребение приехало человек двадцать. Началась процессия прощания. Как раз пошёл густой снег. И я вспомнил полузабытое:

Снега, снега! Как вы белы,
С какою падаете негой!
Вы мне по-прежнему милы –
Не мыслю родины без снега.
Снега, снега! В конце концов,
Неотвратима мысль простая:
Снежинка сядет на лицо
И, удивившись, не растает...

Когда он был жив, мне не казалось, что эта строчка – о смерти. Впрочем... Кажется, у Льва Толстого сказано, что, только задумываясь о смерти, человек начинает понимать жизнь. Нет, наверное, это все же не о кончине в прямом смысле. Это из области философии. Мудрая наука – философия. В ней есть закон отрицания отрицания. Не по этому ли закону при неумной жизненной энергии пишутся грустные стихи? Лёша – певец русской печали. Спросят: почему – русской? Неужели и печаль имеет национальность? Да! Необъяснимую словами, подспудную. Она даже не для слов существует, а для сущности стиха... Её изначальность, её субстанция – душа. Мы же не требуем пояснений, когда слышим выражение: «русская душа». Чашечников это продолжение Кольцова, Есенина, Федорова...

...На поминках, где читались стихотворные посвящения, сергиево-посадские друзья Чашечникова пытались меня поправлять: я называл Екатериновку, они поправили – «Воскресенка». Я вновь: «Екатериновка», они: «Воскресенка». Тогда я пояснил: «Воскресенка – это его родина в Седельниковском районе Омской области». А Екатериновка – это совсем другое».

Когда мы по выходным дням гостили с ним в Екатериновке, Лёша частенько был инициатором отсрочки нашего воскресного отъезда обратно в Тару. Мы оба втайне смаковали такое решение: у нас там водились «шуры-муры» и добавлялся ещё один вечер для

свиданий. Но в качестве расплаты надо было в понедельник утром глотать горькие пилюли: вставать на рассвете, переправившись через Иртыш, ловить попутку, и к девяти поспевать в редакцию. Я тряс его за плечи, поднимая с пола (мы всегда спали на полу) ещё до рассвета. Бывали случаи, что я даже уходил один. Он или догонял меня на переправе, или вовсе приезжал в редакцию к обеду. Тогда мне приходилось или скрывать от сослуживцев о совместном уик-энде, или что-нибудь привирать о причине опоздания коллеги. Так было в течение двух летних сезонов.

В 1957 году я уезжал на учебу в институт, но незадолго до моего отъезда случилось то, что станет концом лёшиной бесшабашной свободы. В очередной раз отставши от меня, он не появился в редакции ни к обеду в понедельник, ни к вечеру. Только во вторник утром я услышал в телефонной трубке его прерывистое дыхание.

– Ну что молчишь? – Почти выкрикнул я. – Я уже все соврал за тебя, осталось только объявить, что ты умер.

– Не говори, что я умер, скажи, что я женился. – Он хохотнул и, выдержав паузу, добавил: – И это будет правда.

Женат он был не единожды. Но, читая и перечитывая его стихи, я все больше убеждаюсь, что он был обречен на любовь к одной женщине. Она жила в нем, сжигала, травила, окрыляла и несла по жизни. Сам лирик и поэт, я мало у кого встречал вот такой силы стихи об одной-единственной, богоданной, но не до конца, не до кончины разделенной любви:

...Я позову любовь из давних лет
И посажу под древнюю икону...

.....
Произнесу: ну, будь здорова, Анна!
Начнём с того, что я тебя люблю
Все сорок лет и помню постоянно.
Я всех простил, но только не себя
И не тебя – мне это не под силу!
И всё-таки ты знай, что я, любя,
Прошёл по жизни и уйду в могилу.

.....
Конечно, Анна, что теперь про нас!
Отгоревали мы, отпировали.
Но если б выбирать судьбу сейчас –
Я по-другому выбрал бы едва ли...

Когда человек ушел, ничто уже не может ни убавить, ни прибавить к его достоинствам и недостаткам, если, конечно, полностью

исключить лжесвидетельство. Но можно бесконечно итожить крупицы опыта, оставшегося от общения с ним. Он был для меня примером того, как можно, «не кончая академий», стать образованнейшим человеком своего времени.

Уже на пятом десятке лет Чашечников окончил Высшие литературные курсы (ВЛК) при Литинституте имени Горького. Но в основном сумел «сделать» себя сам. По многим вопросам истории России, особенно в части ее псевдореволюционных, антиправославных прегрешений перед русским народом, он был, без преувеличения, энциклопедистом. Мы не раз «цапались» по политическим мотивам, я был «партийнее» его, правильнее, что ли, по советским идеологическим критериям. Не случайно волны горбачёвской перестройки прибили его к газете «Советская Россия», которая в бытность её главным редактором Михаила Ненашева громила и сокрушала догматы ортодоксального коммунизма. Чашечников явил тогда незаурядные способности демократического публициста. А я работал в спокойной, некрикливой и не очень политизированной газете «Сельская жизнь», которая везла вечный воз крестьянских проблем, не забегая вперёд лошади. К тому же я был собкором в Сибири, то есть находился вдали от Москвы. И даже если иногда и хотелось пропеть своё политическое соло, то умудрённые редакторы находили способ увести его в монотонность хора. Знаю, он не смог бы оставаться в этом хоре, а я вот мог. Его позиция яснее ясного выражена в строках письма, присланного мне из Семёнова в Омск в 1985 году: «Мы ведь с тобой не тракторы ремонтируем, а претендуем на врачевание душ людских. И тут я бескомпромиссен: всякая, даже малая сделка с собой (...) рано или поздно ляжет на бумагу то ли ложью, то ли равнодушием... Совру, если скажу, что я пристально слежу за твоими выступлениями в «Сельской жизни». Но если попадается в руки газета со статьёй за твоей подписью – читаю. И вот какое впечатление: ты всё время идёшь за событиями, не делая рискованных прогнозов (...), мягко скажем, не плюёшь против ветра, если противник стоит с наветренной стороны. Позиция разумная, но социально бесполезная и даже вредная».

Вот как серьёзно отчихвостил, и в этом он весь – жёсткий и беспощадный. Но пройдет ещё с десяток лет, и он ужаснётся результатами перестройки, за которую сражался рискованней меня. Появится его стихотворение «Распродажа»:

Идёт распродажа. Не сеём, не пашем,
Садов не сажаем, не строим дорог, –
Идёт распродажа в Отечестве нашем –
Вгрызаются соросы в русский пирог...

Очнитесь, славяне! Во лжи, словно в саже,
Вы святость отцов позабыли, сыны!
Идёт распродажа, идёт распродажа,
Идет распродажа великой страны!..

В начале 1978 года он пишет мне из Астрахани в Омск о том, как его принимали в Союз писателей. Местная писательская организация уже была фактически расколота надвое, и он не набрал нужных для приёма двух третей голосов. То же произошло и в приёмной комиссии при правлении СП в Москве. Последней инстанцией был секретариат, на котором с судьбоносной речью выступил тогдашний главный редактор журнала «Москва» Михаил Алексеев, после чего весь секретариат в составе 24 человек единогласно проголосовал «за».

Поэту, наверное, должно многое простаться. Жизненные ошибки – строительный материал его творчества. Уверен, Чашечников не написал бы столько прекрасных, волнующих, стихов о любви, не будь у него драматического опыта собственных терзаний на этом поприще.

... Судьбою часто правит случай:
Чтоб с кем-то разделить беду,
Я в ночь по лестнице скрипучей
На тихой станции сойду.
Там ждут меня. Там мне поверят,
Что я вернулся навсегда.
И будет пес скулить под дверью,
Гудеть за стенкой провода, –
Там все привычно-непривычно –
И пруд, и мерзлый оком...
И будет ночью чай отличный,
И одиночество вдвоем.

Я однажды из самых безобидных, на мой взгляд, побуждений взялся поучать его, упрекая в духовных растратах от этакой гусарской вольности. Это было связано с очередной переменой в его семейной жизни, на что я позволил себе пофилософствовать, написав примерно следующее. Что мы уже не молоды, и что с возрастом особенно надо дорожить семейным постоянством. «Семейная пара – это две копилки, которые заполняются порознь, но в старости распаковываются сообща». Ещё что-то было об эмоциях, которые полезно почаще усмирять, ради крепости союза. Мою философию Лёша принял как упрёк в свой адрес. «Оставь это иным, помоложе – тем, кто идут за нами без царя в душе, но с претензиями на царство... Я поэт, и повы-

шенная эмоциональность – необходимое, вероятно врождённое состояние моей души. Без эмоций стихов не напишешь».

В его последней книге «Русская голгофа» нахожу стихотворение, похожее на послесловие к нашему диалогу:

За окнами метель и дни идут на убыль,
А в комнате у нас уютно и тепло.
Но мечутся слова и ищут пятый угол,
И бьются головой в промерзшее стекло.

.....
Я больше не могу. Я распахну покой
И выпущу слова. И сам шагну в пургу.
Пусть люди говорят про долг и всё такое –
Я больше не могу! Я у любви в долгу.

ПАМЯТНИК

На поминках после похорон в тесной квартире покойного поэта, говорили много и, как всегда, клятвенно. Из словесных кружев неожиданно вырвалось восклицание:

– Эх, Лёня! Зачем ты мне юбилей испортил!

Это сказал немолодой с крупным угловатым лицом мужчина. Присутствующие называли его братишкой. Ну, братишка и братишка – кличка, наверное, такая.

В перекур «братишка» подошел ко мне, и мы познакомились ближе, разговорились. Я буду век благодарен этому случаю.

Первым делом я узнал, что у моего случайного знакомого фамилия такая – Братишко. Николай Максимович Братишко, Сергиево-Посадский поэт и живописец.

Ты куда по бездорожью,
Обворованная Русь?

Это его стихи. По двум строчкам видно, чей он, с кем он. В целом о его поэзии говорит тот факт, что он после издания первого сборника стихов был принят в Союз писателей России, что уже является оценкой таланта. Он как поэт был обласкан Виктором Боковым. Чашечников давал ему рекомендацию для приёма в Союз писателей, и в предисловии к сборнику стихов написал: «... он человек, безусловно, отмеченный Господом Богом не только своеобразным талантом, но и той щедростью русской души, которая не скужились от бед и напастей, а стала ещё светлей и щедрей...»

Николай родился 18 декабря 1939 года, и действительно, смерть Чашечникова накрыла его шестидесятилетие, пришлось в этот день хлопотать о похоронах наставника и друга.

С Сергиево-Посадским поэтом Николаем Братишко на могиле Леонида Чашечникова в день его 70-летия 8 марта 2003 года.



Далее... Он позволил мне перед сороковинами. Договориваемся встретиться прямо у лёшиной могилы.

В нужный день и час, шагая от большака по кладбищенской дороге, я надеялся увидеть знакомые по похоронной тризне лица. Но оказался у заснеженного холма один. Непуганые синицы, стряхивая с веток снег, нарушали оглушительную тишину.

Николай появился, как из-под земли. Не по-зимнему легко одетый, с непокрытым ежиком причёски. Поздоровались, как давние знакомцы – только что без объятий. Он негрубо ругнулся на кого-то, кто должен был прийти, но не пришел. Вот и верь затрапезным клятвам в дружбе и верности!

Ну, что ж, двое – не один. Водку мы налили в три стакана, на один из них положили скибочку хлеба с салом. Разговор пошёл не столько о прошлом, сколько о будущем. Что надо весной собраться и обиходить могилу...

Однако весной мы почему-то не встретились. На кладбище я оказался один. Как и ожидал, земля на могилке провалилась, выцветшие венки лежали в воде. Серое небо слегка моросило. Чтобы зря не мокнуть, я размотал привезённую с собой лопату, обул извлечённые из багажника машины сапоги и принялся за работу...

Вечером Братишко нашёл меня в Москве по телефону. Похвалил мой «мавзолей» (уж я постарался, соорудил четырехгранник почти в полметра высотой и посадил привезённые из дома две герани). Оказывается, он был на могиле вслед за мной. Не ожидал, что я в дождь приеду, поэтому и опоздал.

Мы назначили следующую встречу на полугодие, – это приходилось на 17 июня. Но в этот раз не приехал я – был в отпуске, причем в отъезде. Съехались мы уже под осень.

Он сказал, что сейчас нам надо проехать в какую-то мастерскую. Мы приехали в цех, где изготавливалась всяческая ритуальная атрибутика. В углу похожего на остатки Помпеи помещения мы нашли гранитную глыбу диаметром в пол-обхвата и около метра высотой. Коля стал рассказывать, как он добывал этот камень. Сам ездил в карьер в район Хотьково, что по дороге из Сергиева Посада в Москву. За камень пришлось подрядиться на неделю в воинской части – монтировать охранную сигнализацию. У командира выпросил машину и солдат для перевозки гранита в мастерскую.

Один бок камня был спилен и отшлифован. Коля пояснил мне, что на это место будет нанесен лёшин портрет.

День был хороший, солнечный, и разъезжаться не хотелось. Мы вернулись на кладбище. Темноствольные вязы стояли в зеленом убранстве. Единственный клён среди этих непривычных для сибирского глаза деревьев уже позолотил листву. Единственный, родственный душе поэта, клён! Соревнуясь с вязами за высоту, он вытянулся до их верхушек. Голенастый и тонкий, он бросал нам сверху свои золоченые листья.

В следующий раз мы съезжались на первую годовщину. Деревья были под шапками снега. Все те же синицы резвились среди ветвей. Над могилой, сверкая снежно-серебристой вязью, уже стояла обнова – металлическая оградка. С калиткой, со столиком.

Следующей осенью Николай позвал меня на открытие памятника. Я только что приехал из Тары. В Таре встретился с бывшим коллегой по давней совместной работе в газете «Омская правда» Михаилом Белозёровым. Михаил только что издал свою книгу и тоже, как и Братишко, порадовал своими разносторонними дарованиями – стихами и публицистикой. В книге есть очерк о Леониде Чашечникове, их пути пересекались в ранней молодости. Я рассказал коллеге о Николае Братишко – беззаветном хранителе памяти нашего общего друга. И Михаил, искренне расчувствовавшись, подписал Николаю Максимовичу свою книгу, отыскав самые душевные слова. И мне было с чем приехать в Сергиев Посад.

С электрички пересаживаюсь на маршрутку до Рогачёва. Братишко обещал ждать меня у свёртка на кладбище. Но тут не обошлось без приключений. Гроза, которая гремела над золотыми куполами Сергиевой Лавры, ливнем свалилась на тот самый перекрёсток, и мне пришлось проехать до центра села, где можно было сразу из машины нырнуть под укрытие остановки. Меня там, естественно, не ждали.

Московские грозы отличаются от родных, сибирских тем, что обычно тянут за собой шлейф затяжной непогоды. Ливень сменился моросью, и я потерял всякую надежду встретиться с Нико-

лаем. Укрываясь зонтом, я побрел назад к кладбищенскому свертку. Эффект неожиданности, на который рассчитывал Братишко, был обречён на провал. Мне пришлось одному осматривать сооружение. Где раньше был крест, там теперь стояла гранитная глыба. Только на отшлифованном срезе я не увидел обещанного портрета. Капли дождя блестели на глянце, и, разбухая, стекали вниз. Прямоугольник холма по периметру был устелен бетонными плитами. Посередине чернел свежевскопанный квадратный вазон. Черная металлическая оградка придавала всему сооружению завершенность и уют.

Дождь не прекращался, хотя стал реже. Я прислонил к монументу привезенные из Москвы цветы и осмотрелся. На том месте, откуда когда-то брал землю для холма, лежало перевернутое ведро. Я решил положить под него укутанную в полиэтилен книжку – подарок Белозёрова, а из дому после позвонить Николаю: он придёт и заберет.

Так и сделал. Раскрошив на столике кусочек хлеба для птиц, я направился к большаку. На душе всё же было тревожно от несостоявшейся встречи с «братишкой».

Дальше была какая-то мистика. Дождь разом остановился. Со стороны Рогачёва появился автобус в Сергиев Посад. Я уже, было, приготовился сесть в него, как из автобуса выпрыгнул Николай. Под мышкой у него был мой сверток в полиэтилене. Николай, как ни в чем не бывало, улыбался, а моему удивлению не было предела. Во – первых, автобус шёл не со стороны кладбища, во – вторых, этот сверток... Как книга оказалась у него? Я при этом, конечно же, не учитывал, что, как здешний житель, Братишко знает в этих местах кратчайшие тропы с кладбища на большак.

И что же на самом деле случилось? Николай появился у могилы сразу же после того, как я, подгоняемый дождем, заторопился по центральной кладбищенской дороге к автобусу. Он принес семена цветов-многолетников для посева на вазоне – вот почему ему потребовалось ведро. О моем приезде он уже догадался по цветам, Книга оказалась для него полной неожиданностью.

Как знать, может, у этой мистики был дирижер? Русская душа поэта?

Когда мы вернулись к памятнику, уже светило солнце. С полированной грани камня на меня смотрел... Чашечников. А я ведь вглядывался, и видел лишь капли дождя, струящиеся сверху вниз. Теперь портрет проступил так явственно, что можно было различать ювелирную точность резца художника.

Этот секрет так и остался для меня неразгаданным. Я знаю, есть стекло, меняющее оттенок в зависимости от внешнего освеще-

шения. Братишко уверяет меня, что есть и камень, реагирующий на погоду.

Мы, как всегда, раскинули ритуальную скатерть-самобранку. Коля разволновался, стал подмечать недоделки. Слева он собирается посадить клен, справа – рябину, чтобы было, как в стихах:

Клен сгорел, рябина догорает...

Коля, как и должно было случиться, запнулся. Потому что у Чашечникова заключительная строка звучит так:

Впереди и Родине гореть...

Когда были написаны эти стихи? Неужели это было предсказание свершившейся российской смуты? Или кавказской войны? Или того и другого вместе? Ясно одно, он жил со страной и болел вместе с нею.

ЭПИЛОГ

Эх, закончить бы эти воспоминания традиционной для подобных случаев тирадой: «Где вы, друзья-однополчане?» Это, наверное, тот случай, когда лучше растерять, чем твердо знать, что их уже не будет в твоей жизни никогда. У каждого всё вышло по судьбе. Старыгин упокоен то ли в Тевризе, то ли в Усть-Ишиме – последнее место его работы, Атяков, Галицкий, Горчаков и Коршунов похоронены в Таре, Самсонов – в Омске. Летом 2006 года в Таре умер Михаил Белозёров. Не вернуться уже на родину и Беляеву. Давно потерял из виду редакционных женщин, которых выше упомянул и не упомянул.

Да вот и сам уже подбираюсь к критической поре зрелости и живу вдали от родины.

Редакционный дом с двумя этажами и высоким крыльцом... Я и в более поздние годы насовсем не отрывался от него, и потому так же близко знал поколение журналистов «Ленинского пути», сменившее в редакции моих товарищей, о которых я рассказал. Живые ещё могут сказать о себе сами, а я вспомню ушедших. Александра Пешкова, Григория Шебалина, Александра Мамаева, Юрия Власенко...

Знаю и поддерживаю, как могу, связь с теперешними коллегами из «Тарского Прииртышья». Они талантливы и по-современному делают хорошую газету о земляках и для земляков.

Тарский дом с тем высоким крыльцом – это объект и субъект моей биографии. Как место своего профессионального крещения не забываю его никогда.



Документальная повесть

...И есть моей вины немало,
В том, что за годы без меня,
Здесь ничегошеньки не стало:
Ни труб, ни дыма, ни огня.

Томительная панорама –
Прогал на склоне в полверсты.
Здесь под метель когда-то мама
Стелила белые холсты.

